ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

ТЕРЕЗА РАКЕН

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
З-81

Серия «Эксклюзивная классика»

Émile Zola
THÉRÈSE RAQUIN

Перевод с французского *Е. Гунста*

Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Золя, Эмиль.

З-81 Тереза Ракен : [роман] / Эмиль Золя ; [перевод с французского Е. Гунста]. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-150266-9

Провинциальная красавица Тереза Ракен, прозябающая в несчастливом браке со своим кузеном, безвольным, скучным и мелким буржуа, мечтает о большой любви.

Однако когда в ее жизни появляется Лоран, все непостижимым образом меняется.

Между ними вспыхивает страсть, а вместе с ней – приходит надежда на новую, яркую жизнь...

Но на пути любовников стоит непреодолимое препятствие – муж Терезы. Рано или поздно он все узнает. Что их ждет? И на что они готовы пойти ради счастья?

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-150266-9

© Перевод. Е. Гунст, наследники, 2022
© ООО «Издательство «АСТ», 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я простодушно полагал, что этот роман не нуждается в предисловии... Имея обыкновение излагать свои мысли полным голосом и недвусмысленно обрисовывать в своих произведениях даже мелочи, я надеялся, что буду понят и судим без предварительных разъяснений. Оказывается, я ошибся.

Критика встретила эту книгу яростным, негодующим воем. Некоторые благонамеренные люди из столь же благонамеренных газет брезгливо поморщились и, взяв ее щипчиками, бросили в огонь. Даже мелкие литературные газетки, ежедневно оповещающие о том, что произошло в альковах и отдельных кабинетах, зажали носы, вопя о зловонии и гнили. Я отнюдь не жалуюсь на такой прием; наоборот, я в полном восторге от сознания, что у моих собратьев столь девически чувствительные нервы. Спору нет, произведение мое — достояние моих судей, и если они находят его тошнотворным, я не имею права против этого возражать. Но я сетую на то, что ни один из стыдливых журналистов, которые краснели при чтении «Терезы Ракен», по-видимому, не понял этого романа. Если бы они его поняли, они, быть может, покраснели бы еще гуще, зато я по крайней мере испытывал бы теперь чувство вну-

треннего удовлетворения от мысли, что действительно вызвал у них отвращение. Нет ничего досаднее, как слышать крик честных писателей о разврате, в то время как ты глубоко убежден в том, что они кричат, даже не зная о чем.

Следовательно, мне надлежит самому представить свое произведение моим судьям. Я сделаю это в нескольких строках, с единственной целью — избегнуть в дальнейшем каких-либо недоразумений.

В «Терезе Ракен» я поставил перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты. В этом весь смысл книги. Я остановился на индивидуумах, которые всецело подвластны своим вершам и голосу крови, лишены способности свободно проявлять свою волю и каждый поступок которых обусловлен роковой властью их плоти. Тереза и Лоран — животные в облике человека, вот и все. Я старался шаг за шагом проследить в этих животных глухое воздействие страстей, власть инстинкта и умственное расстройство, вызванное нервным потрясением. Любовь двух моих героев — это всего лишь удовлетворение потребности; убийство, совершаемое ими, — следствие их прелюбодеяния, следствие, к которому они приходят, как волки приходят к необходимости уничтожения ягнят; наконец, то, что мне пришлось назвать угрызением совести, заключается просто в органическом расстройстве и в бунте предельно возбужденной нервной системы. Душа здесь совершенно отсутствует; охотно соглашаюсь с этим, ибо этого-то я и хотел.

Теперь, надеюсь, становится, понятным, что я ставил перед собою цель прежде всего научную. Создав два своих персонажа, я занялся постановкой и решением определенных проблем: так, я попытался уяснить странное взаимное тяготение друг к другу, возможное у двух совершенно различных темпераментов; я показал глубокие потрясения сангвинической натуры, пришедшей в соприкосновение с натурой нервной. Всякий, кто прочтет этот роман внимательно, убедится, что каждая его глава — исследование любопытного психологического казуса. Словом, у меня было одно-единственное желание: взяв физически сильного мужчину и неудовлетворенную женщину, обнажить в них животное начало, больше того — обратить внимание только на это животное начало, привести эти существа к жестокой драме и тщательно описать их чувства и поступки. Я просто-напросто исследовал два живых тела, подобно тому как хирурги исследуют трупы.

Согласитесь, что по окончании такого труда, когда еще находишься под впечатлением суровых радостей, связанных с поисками истины, очень тяжело слышать упреки в том, будто единственной твоей целью было изображение непристойных картин. Я оказался в положении живописца, который пишет нагую натуру, не испытывая при этом ни малейшего соблазна, и который глубоко изумлен, когда некий критик заявляет, что он возмущен изображенной на картине наготой. Пока я писал «Терезу Ракен», я забыл весь свет, я с головой погрузился в точное, тщательнейшее изображение жизни, всецело

отдавшись исследованию человеческого механизма, и уверяю вас, что перипетии жестокой любви Терезы и Лорана не представляли для меня ничего безнравственного, ничего такого, что может поощрить низменные страсти. Человеческое начало моих моделей исчезло для меня так же, как оно исчезает для живописца, когда перед ним лежит обнаженная женщина и когда он помышляет только о том, как бы лучше изобразить ее на холсте, правдиво передав очертания и колорит ее тела. Поэтому я был крайне изумлен, когда услышал, что мое произведение называют лужей грязи и крови, сточной канавой, мерзостью и тому подобным. Я знаком с приемами критики — я сам был критиком, — но единодушие нападок, должен признаться, несколько смутило меня. Неужели среди моих собратьев не нашлось ни одного, который если бы и не защитил, то по крайней мере объяснил бы мою книгу. Среди голосов, кричавших: «Автор «Терезы Ракен» — жалкий маньяк, которому доставляют удовольствие порнографические сцены», — я тщетно надеялся услышать голос, который возразил бы: «Да нет, этот писатель просто исследователь, который хоть и погрузился в гущу человеческой грязи, но погрузился в нее так, как медик погружается в изучение трупа».

Заметьте, что я отнюдь не требую от прессы сочувствия к произведению, которое, как она утверждает, оскорбительно для ее утонченных чувств. У меня нет столь высоких притязаний. Я только удивляюсь, что мои собратья объявили меня каким-то литературным мусорщиком, причем это сделали люди, кото-

рым, казалось бы, достаточно нескольких страниц, чтобы понять намерения писателя, и я ограничиваюсь тем, что скромно прошу их в дальнейшем воспринимать меня только таким, каков я есть, и судить меня только за то, что я собою представляю.

А между тем не трудно было понять «Терезу Ракен», стать на почву наблюдений и анализа, указать на действительные мои ошибки, вместо того чтобы во имя морали кидать мне в лицо комки грязи. Для этого достаточно было известной понятливости и некоторых общих идей, необходимых для критика. Упрек в безнравственности не доказывает в области науки решительно ничего. Не знаю, безнравствен ли мой роман, — признаюсь, я никогда не задавался целью сделать его ни более, ни менее целомудренным. Знаю только, что у меня отнюдь не было намерения наполнить его той мерзостью, какую находят в нем люди добродетельные; что каждую сцену, даже самую острую, я писал, руководствуясь лишь научным интересом. И я бросаю моим судьям вызов — пусть они укажут мне хотя бы одну действительно непристойную страницу, написанную в расчете на читателей тех розовых книжечек, тех рассказов о будуарах и закулисных тайнах, что печатаются в двух тысячах экземпляров и горячо рекламируются теми самыми газетами, у которых правдивость «Терезы Ракен» вызвала тошноту.

Несколько оскорблений, уйма благоглупостей — вот все, что я прочел до сегодняшнего дня о моем произведении. Я говорю это здесь спокойно, как сказал бы другу, который в непринужденной беседе

спросил бы меня о том, что я думаю об отношении ко мне критики. Один очень талантливый писатель в ответ на мою жалобу на то, что я не нахожу сочувствия у критики, мудро ответил мне: «У вас есть существенный недостаток, который закроет перед вами все двери: вы и двух минут не можете поговорить с дураком, не дав ему понять, что он дурак». Вероятно, так оно и есть; я сознаю, что врежу себе, когда обвиняю критику в непонимании, и все же я не могу скрыть презрения, которое вызывает у меня ее узкий кругозор и суждения, высказываемые вслепую, при полном отсутствии какого-либо метода. Я имею в виду, разумеется, критику повседневную, ту, что судит, вооружившись всеми литературными предрассудками глупцов и не умея стать на общечеловеческую точку зрения, какая требуется для понимания человеческого произведения. Никогда еще не наблюдал я подобной неуклюжести. Несколько ударов кулаком, адресованных мне ничтожными критиками в связи с «Терезой Ракен», угодило, как всегда, мимо. Критика бьет обычно невпопад, она восхваляет выверты какой-нибудь нарумяненной актрисы и тут же вопит о безнравственности в связи с физиологическим исследованием, ничего в нем не поняв и не желая понимать, и бьет напропалую, едва только ее трусливая глупость подскажет ей, что надо бить. Досадно оказаться наказанным за проступок, в котором ты не виноват. Временами я жалею, что не написал непристойностей; мне кажется, я был бы рад заслуженной взбучке, если бы она обрушилась на меня вместе с тем градом ударов, которые,

как черепица с крыши, бессмысленно сыплются на мою голову неведомо за что.

В наше время найдется всего-навсего два-три человека, которые могут прочесть книгу, понять ее и вынести о ней суждение. Я охотно выслушаю их замечания, ибо убежден, что они не станут высказываться, не вникнув в мои намерения и не оценив плодов моих стараний. Они не стали бы произносить пустопорожних громких слов о морали и литературном целомудрии; они признали бы за мною право выбирать — в наше время, когда искусство свободно — те сюжеты, которые мне по душе, и стали бы требовать от меня лишь добросовестности, зная, что достоинству словесности вредит только глупость. И конечно, их не удивил бы научный анализ, который я пытался применить в «Терезе Ракен»; они увидели бы в нем современный метод, орудие всестороннего познания, которым наш век так настойчиво пользуется для того, чтобы проникнуть в будущее. Каковы бы ни были их окончательные выводы, они нашли бы вполне допустимой мою отправную точку — изучение темперамента и глубоких изменений в человеческом организме под влиянием среды и обстоятельств. Тогда я оказался бы перед лицом истинных судей, людей, которые добросовестно, без ребячества и ложного стыда добиваются истины и не считают себя обязанными выказывать отвращение при виде живых обнаженных тел, служащих предметом исследования. Искреннее изучение, как огонь, очищает все. Конечно, перед лицом судилища, о котором я сейчас мечтаю, мое произведение

окажется весьма посредственным; я просил бы этих критиков отнестись к нему с беспощадной строгостью, мне хотелось бы, чтобы оно вышло из их рук испещренным пометками и помарками. Тогда я по крайней мере испытал бы глубокую радость от сознания, что меня критикуют именно за то, что я пытался сделать, а не за то, чего я не делал.

Мне чудится, будто я уже теперь слышу приговор этой истинной критики, критики методической и натуралистической, которая обновила науку, историю и литературу: «Тереза Ракен» — исследование случая чересчур исключительного; драма современной жизни проще, в ней меньше ужасов и безумия. Такие явления не должны стоять на первом плане в книге. Желание ничего не упустить из своих наблюдений привело автора к тому, что он подчеркивает любую деталь, а это придало произведению в целом еще большую напряженность и остроту. С другой стороны, его стилю недостает той простоты, какой требует аналитический роман. Следовательно, чтобы написать хороший роман, писателю теперь следовало бы наблюдать общество с более обширной точки зрения, описывать его в более многочисленных и разнообразных аспектах, а главное — пользоваться языком ясным и естественным».

Я намеревался в нескольких строках ответить на нападки, возмущающие своей наивной недобросовестностью, а между тем замечаю, что пускаюсь в рассуждения с самим собою, как это случается со мною всегда, когда я слишком долго держу в руках перо. Я умолкаю, зная, что читатели не любят это-

го. Если бы у меня хватило воли и досуга написать манифест, я, пожалуй, попытался бы защитить то, что один журналист, говоря о «Терезе Ракен», назвал «гнилой литературой». Впрочем, к чему защищать? У группы писателей-натуралистов, к которой я имею честь принадлежать, достанет мужества и энергии, чтобы создать крепкие произведения, в самих себе несущие свою защиту. Только предвзятость и ослепление определенного рода критики может вынудить романиста написать предисловие. Раз уж из любви к ясности я совершил ошибку — написал предисловие, то прошу за это прощения у умных людей, которые хорошо видят и не нуждаются в том, чтобы среди бела дня для них зажигали фонарь.

Эмиль Золя

I

В конце улицы Генего, если идти от набережной, находится пассаж Пон-Неф — своего рода узкий темный проход между улицами Мазарини и Сеной. Длина пассажа самое большее шагов тридцать, ширина — два шага; он вымощен желтоватыми истертыми разъехавшимися плитами, вечно покрытыми липкой сыростью; стеклянная его крыша, срезанная под прямым углом, совсем почернела от грязи.

В погожие летние дни, когда неумолимое солнце накаливает улицы, сюда проникает через свод грязной стеклянной крыши какой-то белесый свет, скупо разливающийся по проходу. А в ненастные зимние дни, туманными утрами, с крыши спускается на скользкие плиты густой мрак — мрак беспросветный и гнусный.

На левой стороне пассажа ютятся сумрачные низенькие придавленные лавочки, из которых, как из погреба, несет сыростью. Здесь расположились букинисты, продавцы игрушек, картонажники. Выставленные вещи, посеревшие от пыли, вяло дремлют в сумраке; витрины, составленные из мелких стеклышек, отбрасывают на товары расплывчатые зеленоватые отсветы; за витринами еле видны темные лавочки — какие-то мрачные каморки, в которых движутся причудливые тени.

Справа по всей длине пассажа тянется стена, на которой лавочники пристроили узкие шкафчики: здесь на тонких полочках, выкрашенных в отвратительный коричневый цвет, лежат какие-то невообразимые товары, выставленные лет двадцать назад. В одном из шкафов разместила свой товар торговка фальшивыми драгоценностями: колечки по пятнадцать су, которые заботливо разложила на голубом бархатном щитке в ларце из красного дерева.

Над витринами высится стена — черная, кое-как оштукатуренная, словно покрытая проказой и вся исполосованная рубцами.

Пассаж Пон-Неф не место для прогулок. Им пользуются, только чтобы сократить дорогу, чтобы выгадать несколько минут. Тут проходят люди занятые, которым важно поскорее добраться до места. Здесь видишь подмастерьев в рабочих фартуках, мастериц с их изделиями, мужчин и женщин со свертками под мышкой; здесь видишь стариков, которые бредут в унылом сумраке, льющемся со стеклянной крыши, и ватагу ребятишек, только что вырвавшихся из школы, — они пользуются случаем пошуметь и изо всех сил топают деревянными башмачками по каменным плитам. Весь день тут не умолкает дробное постукивание торопливых шагов, и эти звуки раздражают своей беспорядочностью; никто здесь не останавливается, никто не беседует; каждый бежит по своим делам, понурив голову, торопится и даже не бросит взгляда на лавочки. Торговцы с недоумением взирают на прохожего, который чудом задержится перед их витриной.

По вечерам пассаж освещается тремя газовыми рожками, вставленными в массивные квадратные фонари. Фонари эти, подвешенные к стеклянной крыше, бросают на нее светлые рыжеватые блики и излучают круги бледного трепещущего света, готового вот-вот померкнуть. Тогда зловещий пассаж уж совсем кажется каким-то логовом: по каменным плитам стелются длинные тени, с улицы долетают порывы сырого ветра, — здесь чувствуешь себя словно в узком подземелье. Торговцы вынуждены довольствоваться слабыми отблесками фонарей, падающими на их витрины; только в лавках хозяева зажигают лампы с абажурами — они ставят их на конторку, — и тогда прохожие могут различить, что делается в этих каморках, где и средь бела дня царит ночь. В темном ряду витрин выделяется ярко освещенное окно картонажного мастера: две лампы с рефлекторами прорывают мрак желтыми язычками пламени, — а по соседству свеча, воткнутая в резервуар старой лампы, зажигает яркие звездочки в ларчике с фальшивыми драгоценностями. Торговка дремлет, прикорнув в уголке своей будочки, запрятав руки под шаль.

Несколько лет назад против этой торговки находилась лавочка, сколоченная из досок и выкрашенная в бутылочно-зеленый цвет, причем из всех ее щелей просачивалась сырость. На вывеске — длинной узкой доске — черными буквами было выведено: «Галантерея», — а на стеклянной двери красными буквами значилось: «Тереза Ракен». Справа и слева

от двери виднелись глубокие витрины, выложенные синей бумагой.

Днем, в неясном полусвете, взгляд мог различить только витрину.

С одной ее стороны было выставлено немного белья: плоеные тюлевые чепцы по два и три франка, муслиновые манжеты и воротнички, фуфайки, чулки, носки, помочи. Все эти вещи, пожелтевшие и мятые, уныло висели на железных крюках. И так вся витрина, снизу доверху, была заполнена выцветшими тряпками, принимавшими в прозрачных сумерках какой-то зловещий облик. Новые чепцы, выделяясь более яркой белизной, выступали резкими пятнами на синей бумаге, устилавшей доски, а развешанные на железном пруте цветные носки создавали темные блики на расплывчатой, белесой мути муслина.

На другой стороне, в более узкой витрине, громоздились большие клубки зеленой шерсти, черные пуговицы, нашитые на белый картон, коробки всевозможных цветов и размеров, бисерные сетки для волос, натянутые на синеватые бумажные круги, связки вязальных крючков, образцы вышивок, мотки лент, целые горы каких-то выцветших, тусклых предметов, покоившихся здесь по меньшей мере лет пять-шесть. На этих полках, пропыленных и сгнивших от сырости, все некогда яркие цвета превращались в один, грязно-серый.

Летом, около полудня, когда солнце заливало площади и улицы жгучими рыжеватыми лучами, за чепчиками, выставленными в витрине, можно